

Александр Куприн

# Свечеч царства



Александр Куприн  
**Светоч царства**

«Public Domain»

1930

## **Куприн А. И.**

Светоч царства / А. И. Куприн — «Public Domain», 1930

«Как и всегда в погожие дни, старый художник Иван Максимович Тарбеев проснулся в шесть часов утра, легко сделал свой несложный туалет, выпил кофе с молоком и теплым сдобным бубликом и пошел не спеша по холодку в Булонский лес, до которого ему было ходьбы всего десять минут, включая сюда время на переход воздушного мостика через окружающую железную дорогу. Деревья встретили его своим осенним чистым и свежим дыханием, всегда как-то радостно новым...»

© Куприн А. И., 1930

© Public Domain, 1930

## Александр Иванович Куприн

### Светоч царства

Как и всегда в погожие дни, старый художник Иван Максимович Тарбеев проснулся в шесть часов утра, легко сделал свой несложный туалет, выпил кофе с молоком и теплым сдобным бубликом и пошел не спеша по холодку в Булонский лес, до которого ему было ходьбы всего десять минут, включая сюда время на переход воздушного мостика через окружную железную дорогу. Деревья встретили его своим осенним чистым и свежим дыханием, всегда как-то радостно новым.

У художника были уже давно отмечены свои привычные, излюбленные местечки в зеленой подвижной тени каштановых, липовых, тополевых и платановых аллей этого великолепного парка-леса. Любил он спускаться по нижним дорожкам к одному из двух озер, спокойно лежавших в оправе из темных высоких сосен. На их холодной поверхности, то серебристой, то стальной, то черной, то нежно-голубой, скользили лодки гребцов и плавали разнопородные дикие утки и прекрасные лебеди: белые и черные – австралийские. Птицы совсем не боялись людей и охотно подплывали к самому берегу за хлебом. Особенно любил Тарбеев кормить булками лебедей из рук. Ему очень нравилось, как они своими жесткими суетливыми клювами выщипывали, вытаскивали насильно куски хлеба из его сопротивляющихся пальцев...

Долго простаивал он на краю обширных площадок, предоставленных для детских игр. Радостно мелькали перед его глазами на ярко-зеленом газоне красные, синие, желтые, лиловые, белые, коричневые – всех цветов и оттенков – детские платица. Посредине такого живого поля обыкновенно возвышается одинокое огромное столетнее дерево: каштан, лиственница или дуб, поражающие на открытом месте своей необычайной высотой, мощностью ствола и царственной широтой кроны, под которой могла бы укрыться от дождя рота солдат или целый девичий пансион. Иногда углублялся Тарбеев на волю случая по неизвестной боковой тропинке в тесную гущину леса. Там не раз мимо художника, неподвижно сидевшего на раскладном холщовом стуле с красочным ящиком на коленях, с кистью в руках, беззвучно и опасно проходила семья пугливых грациозных серн, с тоненькими ножками, с влажными черными глазами. Прелестные животные останавливались невдалеке от Тарбеева и несколько минут внимательно осматривали его, однообразно повернув к нему маленькие чуткие головки с дрожащими черными ноздрями. И потом, вдруг, как будто по неведомому сигналу, все они сразу мгновенно и беззвучно исчезали в лесу.

Поперек аллей, вокруг всего парка и обоих озер, пролегает мягкая, разрыхленная дорожка для верховой езды. В утренние часы Тарбеев, расположившись на уединенной скамейке, подолгу наблюдал всадников, всадниц и лошадей, проходивших мимо него крупным галопом, и делал быстрые кроки в карандашном альбоме. Когда-то он и сам был страстным наездником и хорошо знал не только фигуру лошади как в покое, так и в движении, но и лошадиную душу. Частенько он с улыбкой говорил: «Это лошадь привезла мне известность». Конечно, здесь была лишь шутка, свидетельствовавшая об его обычной скромности. Еще до революции в музеях, галереях и в частных коллекциях хранилось много его известных картин, в которых лошадь всегда была лишь неизбежным и любимым аксессуаром. Тарбеев был влюблен в яркий, цветной, экзотический Восток. Он долго путешествовал по Туркестану, Ташкенту, Бухаре, Персии, Афганистану и Ближней Индии, где пешком с проводниками, где верхом на лошади, на осле, на муле или на верблюде, вместе с караванами. Неумоимо зарисовывал он восточные мечети, пагоды, дворцы и живописные палатки кочевников; бронзовые лица женщин, мужчин, стариков и детей, базары, праздники, охоту, дикие скачки и мирный повседневный быт. Но с особенной любовью и проникновенностью писал он лошадей. Сегодня выдалось чудесное утро поздней осени. Вечера небольшой мороз слегка затянул оба озера тончайшей

ледяной пленкой, а ночью прошел маленький снег и к рассвету покрыл ее нежной воздушной белой пылью, которая слегка, чуть заметно, розовела на заре. Странно и умильно было видеть бархатную свежую зелень прибрежного газона рядом с белым тихим облачением зимы. Угрюмые черно-зеленые сосны бросали свои длинные тени на озеро, и эти переплетенные тени казались на снегу прозрачно-голубыми. Удивительное, волшебное соединение красок темно- и ярко-зеленых с розовой и голубой вызывало в душе художника легкую, томную печаль.

«Смерть, – думал он, – а как прекрасно!»

Мимо него, все в одном и том же направлении (обратном движению часовой стрелки), скакали дамы, сидевшие в седле по-мужски и потому казавшиеся такими же маленькими, легкими и искусными, как жокеи; громко и тяжело шлепали задами американцы; англичане сидели на прекрасных лошадях с уверенной небрежностью и, не обращая внимания на посадку, производили впечатление прирожденных всадников; французы скакали, растопырив ноги; под офицерами часто бывали арабские лошади, серые, с тонкой кожей и с породистыми прелестными мордами. Но теперь Тарбееву было не до них. Снег на льду быстро таял, и розово-голубые на нем оттенки должны были вскоре погаснуть. Художник торопился уловить красивый момент, пока он держится.

Не отрываясь от работы, он услышал, как слева от него закрипели по гравию чьи-то шаги. Затем две человеческие фигуры остановились между ним и восходом солнца, застыли художнику свет.

Тарбеев поднял глаза от походного мольберта.

Этих двух людей он видел несколько раз на улицах Пасси, в тех местах, где нет тесного автомобильного движения.

Одного из них, старшего, пожалуй, нельзя даже было назвать целым человеком, а всего лишь половиною, потому что сознание его было омрачено, по-видимому, навсегда. Когда Тарбеев спросил о нем знакомую толстую привратницу, та ответила с брезгливым выражением на лице: «Ах, это один бедный идиот».

Удивительно: французы без всякого отвращения или отчуждения относятся к уродам, к людям с изуродованными лицами и с проваленными носами, к калекам, к слепым; но умственные и психические дефекты вызывают в них нетерпеливое волнение, похожее, скажем, на боязнь душевной заразы: они сторонятся от идиотов, эпилептиков, пьяных, заик и просто утомительно глупых людей. Поэтому же они не выносят мямлящей, тягучей речи с повторениями, ежеминутными остановками. Если иностранец спрашивает о чем-нибудь незнакомом парижанина, но говорит при этом не по-французски, а лишь переводя мысленно слово за словом родного языка на слова французские, то этот «париго» выслушает его внимательно. Не поймет, но повторения не будет дожидаться, разведет руками, хлопнет ими себя по бедрам, скажет хрипло «alors»<sup>1</sup> и уйдет по своему делу. Лавочник же в таком случае рекомендует чужеземцу обратиться к полицейскому. Это все уже давно заметил Тарбеев, знавший тоже французский язык весьма плоховато. Но у него, как у коренного русского человека, была своего рода тихая жалость ко всем блаженненьким, несчастненьким и дурачкам.

Поэтому он ничего не сказал больному человеку, загордившему от него натуру, и спокойно рассматривал его. Идиот был невысок, но когда-то, должно быть, строен; теперь он немного сутулился. Несоразмерно большую и тяжелую, как у всех идиотов, голову он держал свешенной на грудь и потому глядел хмуро исподлобья, бычачьим взглядом, тупым, стоячим и недоверчивым. Над обритым гладко лицом серебрилась жесткая седина человека, перевалившего за пятьдесят лет. Одет он был странно для своих лет не то футболистом, не то маленьким лицеистом: картузик с козырьком, суконная куртка с большими пуговицами, трусики

---

<sup>1</sup> Ну что ж (*фр.*).

немного ниже коленной чашки, длинные теплые чулки, входящие в зашнурованные ботинки. Этот кидаящийся в глаза костюм еще больше подчеркивал умственную немощность дурачка.

Второй человек был его нянькой, его слугой или проводником – высокий тонкий молодой парень, одетый в светло-горохового цвета непромокаемый плащ, с широким клапаном вокруг талии. В руке он держал палку из какого-то белого дерева, высокую и кривую, точно пастушескую. Зоркому Тарбееву припомнилось, что идиот ходил всегда один и тот же, а провожатый его порою менялся, наследуя от предыдущего гороховый непромокай и тот же самый овечий жезл. Нынешний поводырь казался самым несимпатичным. Видя, что Тарбеев внимательно смотрит на его поднадзорного, он сейчас же изобразил на своем безусом грязно-желтом лице холуйскую улыбку, одновременно ироническую, и подбострастную, и наглую: «Видите, какой красавец? И смешно и неприятно, но что поделаешь? Есть, пить ведь нужно. Мы с вами, как умные люди, это, конечно, понимаем».

Но и идиот, казалось, понимал кое-что. Он поглядывал на этюд, потом на художника, потом опять на этюд и, наконец, на озеро. С каждым поворотом головы он издавал низкое короткое мычание.

– Что? Идет? – спросил весело Тарбеев. Но слабоумный человек не любил, очевидно, легкомысленных вопросов. Он замычал длинно и как будто обиженно и стал совать художнику свою руку в грязной замшевой перчатке.

– Чего он хочет? – спросил Тарбеев.

– Дурит, – ответил равнодушно гороховый парень. – Извините.

Он взял своего питомца за складку куртки и потянул к себе. Тот уперся, еще ниже склонил голову и тихо, но гневно заревел, как настоящий бык. Тогда проводник освободил куртку идиота, сделал палкой совсем небольшое, но несомненно угрожающее движение и быстро пошел один по аллее, не оборачиваясь назад. Очевидно, это была условная, давно знакомая угроза. Идиот торопливо побежал вслед ему. Ноги у него были худенькие и, сравнительно с туловищем, поразительно маленькие. Он бежал, не отдирая подошв от земли, очень частыми и мелкими шажками, как дети, когда воображают себя паровозом. Догнав своего начальника, он прижался рукой и щекой к его рукаву. Гороховый человек наставительно тряс палкой. Так они шли, пока не исчезли за лесным поворотом.

В этот день Тарбеев больше не работал. Не пошел он в Булонский лес и на следующий день. Время проходило в мелких делах и заботишках. Странно: встреча с идиотом почему-то упорно не выходила из его памяти. Нет-нет, а все мелькала в его внутреннем зрении эта жалкая фигура с короткими ножками в трусиках, с большущей головой, уткнутой в подбородок, с деревянным, неизменяющимся взглядом.

– Где-то я видел этого человека, или, во всяком случае, кого-то очень похожего на него, – думал художник, – но где, где, где и когда?..

Он и сам был не рад навязавшемуся впечатлению, но постоянно ловил себя на том, что – то мысленно, то карандашом на клочках бумаги – он чертил образ знакомого незнакомца. Порою, для того чтобы прикрепить это лицо к давно утерянному месту и времени, он сам для себя притворялся, что совсем забыл о нем, что он его даже не видал никогда, а потом внезапно, точно с разбега, сразу выхватывал его из недр уснувшей памяти. Нет! даже и эта, давно испытанная старая уловка не помогла. «Не дается, и баста».

Но вдруг, после долгих и уже надоевших попыток, ему пришла в голову довольно нелепая мысль: а не спросить ли у господина Морэна?

Старый господин Морэн – консьерж углового дома – был одним из давнишних обитателей Пасси, если не самым давним. Он отлично помнил те времена, задолго до всемирной выставки, еще до постройки Трокадеро и Эйфелевой башни, когда на месте теперешнего веселого и нарядного городского квартала Пасси была большая и богатая деревня, тонувшая в тени каштанов и лип, в которую ездили по воскресеньям парижане поваляться на зеленых

лужайках, попить прекрасного густого молока или попользоваться целебными железистыми водами, открытыми еще в восемнадцатом веке, но ныне забытыми и заброшенными. Он очень много знал и рассказывал о жизни и делах американского генерала Ранеляг, впервые введшего в деревне Пасси театр и музыку; он еще помнил древней старушкой госпожу Вион Викомб, когда-то блестящую звезду Второй империи, сумевшей сохранить к старости и большие деньги, и большую любовь к жизни. Он, конечно, не успел застать в живых Бальзака, жившего когда-то в Пасси, на улице Рэйнуар, и даже насадившего там виноградные шпалеры, но сурово относился к памяти этого великого писателя из-за его тревожной и безалаберной жизни, заставлявшей его не только всегда бывать по шею в долгах, но и позорно бегать от кредиторов и от судебных приставов через особый потайной ход. Знал он и историю охотничьего домика Ля-Мюэтт, построенного еще Франциском Первым и совсем недавно разрушенного доглом и снесенного с лица земли Ротшильдом, давным-давно купившим этот участок, а при нем вдобавок и дворец. «Эх, не ценят у нас славной старины, – вздыхал Морэн, – не умеют ценить и не хотят...»

Мэтр Морэн, по своему собственному убеждению, знал толк во всем: и в политике, и в погоде, и в скачках. Тарбеев называл его почтительно старшиною (citoyen) Пасси. Господин Морэн ничего не возражал против такого самодельного титула, но судя по тому, как при этом обращении шевелились его густые, нависшие седые брови и острая военная бородка, можно было думать, что он не доволен.

Как-то в полдень мэтр Морэн сидел на табурете у себя в крошечном палисадничке за железной оградой. В руках у него была сегодняшняя газета «Накануне», посвященная исключительно скачкам, а на носу огромные очки в старой томпаковой оправе. Увидев издали проходившего художника Тарбеева, он головой и бровями подозвал его к себе.

– Добрый день, – сказал он и, развернув газетный лист, начал тыкать пальцем в программу. И хотя кругом положительно не было видно ни одного человека, он заговорил таинственным, приглушенным голосом, наклоняясь к самому уху Тарбеева и подозрительно бегая глазами вокруг:

– Вот. Смотрите, – третья скачка. Непременно ставьте на Гольбаха. Вы уж слушайте меня. Верные пятьдесят франков. Если, конечно, не пойдет дождь и земля не обратится в грязь. Тогда ставьте на Финь Муш. Вы сами знаете, конечно, что кобылы любят грязную дорожку, но жеребцы на ней нервничают. А что через два часа, к началу скачек, дождь может пойти, это больше, чем вероятно. Посмотрите на эти маленькие цветочки фиолетового цвета, их семена мне подарил один японец, который жил в нашем доме. Он знал, что я всегда интересуюсь состоянием погоды... Эти цветы чувствительнее всякого барометра: как только надвигается дурная погода, они начинают свертываться, сжиматься. Взгляните, взгляните. Видите, как они стиснули свои венчики?

Тарбеева мало интересовали скачки и еще меньше погода. Чтобы переменить разговор, он спросил:

– Ну, а как дела, господин старшина?

– О-о. И не говорите. – Морэн развернул другую газету, «Ле журнал». – Прочитайте, что пишут. Вчерашнее заседание в палате. Куда идут эти крайние социалисты и куда они тащат за собою страну. Социалистический картель, подумайте. И это в то время, когда Пуанкаре лезет из последней кожи, чтобы остановить катастрофическое падение франка. О, дурачье.

Но Тарбеева не интересовала и политика. Он подошел с другой стороны.

– Хорошо ли завтракали?

Мэтр Морэн собрал все свое лицо в веселые морщиночки:

– О, великолепно. Я имел изумительное рагу из молодого барашка и соус из бобов.

– Тогда знаете что, старшина? Так как я тоже только что сейчас позавтракал, то не хотите ли, пойдем к госпоже Бюссак и примем чего-нибудь пищеварительного. Мне помнится, что сегодня моя очередь. Всего на каких-нибудь пять минут. А?

Господина Морэна не пришлось долго уговаривать.

– На минутку, пожалуй, можно, – сказал он, подымаясь с кряхтением.

Ресторанчик госпожи Бюссак был здесь же, под боком. Тарбеев частенько завтракал в нем. Консьерж и художник присели в углу, на клеенчатом диване. Тарбееву дали вермут, а старшине Пасси и окрестностей – перно, ярко- и густо-зеленый анисовый алкоголь, который, будучи разбавлен с водою, заиграл мутным опалом.

Решили сыграть партию в белот, коротенькую, до семисот пятидесяти. Мосье Морэн выиграл. Правда, он немножко приписывал себе лишние очки, но зато как приятно было смотреть на него, когда он с высоты шлепал толстыми картами по игральному коврику и кричал старческим фальцетом: «Белот! Ребелот!.. Кятр дам! Капо!»

Победив, он стал горд, как настоящий петух, и, по своему обычаю, сделал Тарбееву несколько замечаний: «Слишком редко пасуете, оттого что нет у вас терпения; не умеете так вести и конец, чтобы взять последнюю взятку; зеваете случаи, когда десятку, а не семерку противника можно взять тузом. И вообще лет десять еще надо вам поучиться, чтобы играть сносно...»

По этому поводу они выпили еще по одному стаканчику, и тут художник спросил, как бы мимоходом:

– Скажите мне, мой дорогой старшина, не знаете ли вы, что это за странный человек ходит у нас в Пасси в сопровождении не то сторожа, не то надсмотрщика? Вы, как лицо, обладающее всевозможными практическими знаниями, а главное, наизусть читающее живую историю Пасси, касающуюся людей и событий, вероятно, не откажетесь дать мне, какие возможно, сведения. Мосье Морэн подумал и пожевал губами.

– Видите ли, – сказал он после раздумья, – я часто забываю вчерашние и прошлогодние дела; во всяком случае, мне приходится делать над собою большие усилия, чтобы их вспомнить. Но чем дальше углубляюсь я в прошлое, тем более проясняется и становится острее моя память.

Этот ваш несчастный идиот – человек с Востока. В жилах его течет чистая кровь магометанских повелителей. Но это – не персидский принц и не бухарский. Персидского шаха я помню. Он у нас был на Всемирной выставке в 1883 году. Эмир бухарский был в Париже инкогнито, проездом из России. Название страны этого слабоумного я никогда не умел сохранить в голове. Иногда вспомню, и опять уплывет. Мне помнится, что название это как будто кончается на стан... Но не Афганистан: этот мне хорошо знаком из газет по последним каким-то дурацким волнениям и беспорядкам. Впрочем, Восток – всегда кипучий котел... И где его будущее?

Так вот, в начале девятисотых годов или в конце девяностых был привезен сюда во Францию младший сын великого султана этого государства.

– А, Хаджистан? не так ли оно называется? – воскликнул взволнованный Тарбеев.

– Да. Кажется, так. Вы, по-видимому, правы. Я теперь даже вспоминаю, что для того, чтобы удержать это варварское название в памяти, я придумал такое звуковое соединение: *adjustement*. Да, да. Теперь все ясно... Аджистан... Привезли его уже совсем лишенным ума и дара человеческой речи, по крайней мере, мы никогда не слышали, как он говорит. Он был еще очень молод, лет тридцати, тридцати двух. В лице его было почти такое же глупое равнодушие ко всему, как и теперь. Но надо сказать, что в первые дни своей парижской жизни он был поразительно, прямо неопишимо красив. Это слегка смуглое, матовое лицо, эти правильные утонченные черты, говорящие о многих столетиях наследственной власти, этот длинный и томный разрез неподвижных глаз под густыми бархатными ресницами и гордые губы... Но увы! он не говорил. И видевшие его женщины вздыхали с сожалением: «Ах, если бы он говорил».

Как много о нем в ту пору ходило слухов и легенд и просто сплетен. Рассказывали, что он еще с самого раннего детства, боясь соперничества и ревности старшего брата, законного



наследника хаджистанского престола, нарочно притворился глухонемым, а затем с течением времени и совсем потерял членораздельную речь и даже голос. Другие уверяли, что крайние половые излишества довели его до слабоумия. Третьи говорили о том, что ему перед ссылкой был вырезан язык – жестокая дворцовая мера подчинить живого, но и опасного человека невольному и вечному молчанию. Одно я знаю наверное: при его приезде в Париж молодой принц остановился в старейшей гостинице «Отель Крильон» вместе со свитой в двенадцать человек; теперь же он живет где-то невдалеке от авеню Моцарта с какой-то старой дамой, со старой кухаркой и очередным молодым провожатым. Теперь он уже более никому не страшен и всеми забыт. И даже старший брат его давно отрекся от хаджистанского престола за себя и за всех своих родственников.

Старый консьерж, мэтр Морэн, долго еще рассказывал, роясь в давнишних сплетнях и догадках. Тарбеев слушал его невнимательно, рассеянно и с невольной грустью. Им самим овладели с необыкновенной силой давным-давно забытые, уплывшие в глубь времен воспоминания.

Что за удивительные, что за таинственные способности и явления хранит в себе человеческая память! Какое неисчислимое, поражающее множество лиц, событий, мест, звуков, запахов, инстинктов, привычек, имен, знаний, печалей и радостей заключается в ее бездонных, никому не ведомых вместилищах; и кто когда-нибудь узнает, почему и в каком порядке это делается, что вдруг трепетанье листка на дереве, легкий удар камешка о камешек, дальний запах дыма в туманный сырой день – вдруг воскрешают ярко и выпукло тот кусок ушедшей, отмершей, невозвратимой жизни, который лежал в складах человеческого ума целых пятьдесят лет, никому не нужный, никем не тревожимый, позабытый всем миром? Воистину память – одно из глубочайших чудес, сопровождающих наше земное путешествие!

Вот сказано было одно лишь слово «Хаджистан», всего три слога, а перед художником уже раздвинулась великая дверь памяти; сначала узенькой щелкой, а потом все шире, шире, и, наконец, на фоне нежной тонкой грусти по неповторяемому развернулась эта волшебная жизнь на крайнем Востоке, полная блеска, зноя, красок и красоты.

Вот он, тяжкий караванный путь по гористой горячей пустыне. Правоверные мусульмане, не торопясь, с ритуальной важностью нагибаются к земле и с молитвою кладут в мешок белые блестящие камни. Это исполнение воли величайшего святителя, марабута, чье неназываемое имя давно потонуло в истории, но чья благодать и до сих пор творит чудеса. Он приказал еще в незапамятное время, чтобы верные сыны ислама, идя к нему на поклонение, приносили бы с собою по камню, поднятому на дороге, для построения ему всенародной гробницы. И вот давно уже высится над святителем пышный мавзолей, давно уже возведена около него стройная мечеть с золоченым, блистающим за сотню верст минаретом; давно уже построен приезжими арабскими архитекторами фантастический ажурный в стиле Альгамбры дворец султана Хаджистанского, а еще и до сих пор, верные старому обету, уже потерявшему свою цель и смысл, несут и несут магометане в столицу Хаджистана гладкие белые камни.

Вспомнился художнику и монументальный облик последнего султана Нассур-Эльдар Магомета. Он был очень высок ростом. Его осторожные, гибкие беззвучные движения походили на движения свободного тигра и показывали необыкновенную физическую силу, а на лошади он сидел, как царь всадников. Его смуглое, прекрасное лицо с темно-синими глазами говорило об уме, гордости, смелости, утонченном коварстве и об веселой игривой жестокости. Когда он хотел быть ласковым, то его чарующему обаянию невольно подчинялись самые недоверчивые, самые стойкие, самые предубежденные люди и даже кровные враги, не считая персов, русских и англичан, посреди влияний и интересов которых вел свою пеструю, скользкую, многоцветную, хитрейшую политику проницательный Нассур.

Щедрость его была царственно великолепа, но никто не знал, что таится за его сияющей улыбкой: презрение или милость.

Он любил и знал Коран, Библию, лошадей, драгоценные камни, женщин и коньяк мартель, но ни одна из страстей не помрачала и не одолевала его ума.

Жизнь и смерть человека была для него пустым словом.

Да! скромный и миролюбивый художник был однажды свидетелем скорого, почти безмолвного и кровавого восточного правосудия, учиненного султаном Магометом. В высшем суде, возглавляемом самим властелином, разбиралось дело одного высокого сердара, ясно обвиненного во взятках, кривосудии и продаже служебных мест. Беда несчастного подсудимого состояла в том, что он не только не хотел сознаться, но привел для своего оправдания двух трусливых и глупых свидетелей, которые своей неумелой ложью окончательно погубили его.

– Гом-Шау! (пропади!) – сказал спокойно султан.

Но обвиняемый упал на колени перед падишахом. Стараясь обнять его ноги и трясясь от страха, он твердил одно слово: «Курбанэт-шэвем! Я твоя жертва! Я твоя жертва». Злая и презрительная улыбка пробежала по устам Нассур-Эльдара. Крепко ударив ладонью по мраморному столу, он воскликнул гневно:

– Чешмэм тора небинэд! – Да не увидит тебя больше глаз мой!

Затем он сделал почти невидимый знак своему расшитому золотом адъютанту, который сейчас же стал сбоку приговоренного сановника. Султан громко, но вежливо сказал Тарбееву: следуй за ними и смотри, о князь художников-живописцев.

Они втроем – сановник, офицер и художник – гуськом пошли вдоль узких, кривых дворцовых переходов, пока не пришли в каменную небольшую комнату, где не было никакой мебели, кроме простого деревянного стула, за спинку которого спокойно держался высокий худощавый, стройный человек, у которого на голове была барашковая шапка с красным ярлыком, на котором серебряными буквами было оттиснуто «мир-газаб», что в переводе значит – «князь гнева». Палач молча указал рукой. Преступник сел. «Мир-газаб» привязал его руки к столовым стойкам; потом, вынув из бокового футляра широкий нож, небольшой величины, но блестящий от острой отточки, он погрузил два пальца левой руки в ноздри своей жертвы и задрал ему горло так далеко назад, что кадык уперся в потолок, а правой – верным круговым неторопливым движением – отделил голову от туловища и бросил ее на пол. Адъютант и палач низко поклонились друг другу, и обряд казни был окончен... В крошечном ателье художника смеркалось. Красные лучи заката дрожали на оконном стекле. Художник одиноко грустил.

«И вот я видел, – размышлял он, – как любимейшего сына великого султана, того самого, которого он хотел видеть своим наследником, которого он ласково называл Халил Ибрагимом и Светочем Государства Зил-эд-До-улэ, – этого самого принца, рожденного для бесконечной власти, глупый, наглый гороховый мальчуган устрасает палкой, и сын великого вождя и повелителя не сумеет, не может заставить его побледнеть и пасть на землю от железных ужасных слов. Да не увидит тебя больше глаз мой!..»